

## Учителя и ученики

«Аполлон», державшийся до сих пор расплывчатого и довольно равнодушного эстетизма, с первой книжки этого года принял новую позу. В отделе литературной критики — малопопулярный как поэт, больше известный как рецензент «Аполлона» — Н. Гумилев и популярный именно как поэт, в последнее время меньше, а лет 5–6 назад очень громко, С. Городецкий, до того не напечатавший в «Аполлоне» ни одной строчки, — выступили оба в двух статьях с новым эстетическим исповеданием, которое они называют акмеизмом или адамизмом и которое Городецкий со свойственным ему задором проповедует повсюду; а рецензент журнала Г. Иванов применяет эту новую эстетическую веру к приверженцам ее с такой простодушной откровенностью, что впадает в рекламу.

Серьезное это явление или нет? О чем они говорят? о чем так хлопочут? В их выступлении две стороны: одна касается существа вопроса, другая — тактики. Если бы они только исповедовали какую-нибудь литературную веру — можно было бы просто подождать результатов и прислушиваться к их голосам; но у них есть и тактика, — и эта тактика останавливает на себе внимание, может быть большее, чем самое их исповедание. Она заключается, с одной стороны, в нападении на тех, с кем они считают нужным бороться, т. е. с их учителями — символистами<sup>1</sup>, с другой — в пропаганде самих себя и своих приверженцев. Они достигли своего: уже повсюду спрашивают, что такое акмеизм? Привлечь к себе внимание общества, при желании, не трудно. Теперь можно было бы предоставить их самим себе и посмотреть со стороны, как они с этим справляются. Но при отсутствии у нас настоящего литературного мнения, новый эстетизм, уже привлекший внимание, может вызвать увлечение среди школьников и студентов, а этим пренебрегать не надо. Кроме того, в тоне и характере их выступления есть нечто, до того современное, в самом дурном смысле этого слова, что оно должно быть не только разъяснено, но и осуждено с той точки зрения, в которой сливаются литературное мнение с общественным.

Если акмеисты до конца серьезны (в чем я принужден в результате их тактики усомниться), то их эстетика — реакция позитивизма против религиозности; если — нет, то это победа той пошлости, которая останавливаясь перед явлением, ей непонятным по своей сложности, отворачивается с мелким самодовольствием ограниченных умов, не имеющих достаточно мужества, чтобы признаться в своей ограниченности. Предположим, что — первое. Как же они исповедуют свое верование? Они его почти не аргументируют. После сложнейших умственных переживаний предшествующей эпохи обществу, испытавшему очень многое и мучительное и наученному мыслить очень остро, они преподносят очень неубедительные рассуждения и очень определенное отрицание своих предшественников, которым они всем обязаны. Может быть — первое —

---

<sup>1</sup> Вычеркнуто: и декадентами.

не важно, а второе — простительно; может быть — они непосредственные учителя и следует, пренебрегши их рассуждениям и снисходительно отнесясь к их военным выходкам, остановиться перед их собственной поэзией, как перед новым творчеством, идущим на смену старого — ненавистного им, символического? Признать «Иву» Городецкого и «Чужое Небо» Гумилева — новым типом творчества? Или лучше уж говорить об исповедании, как оно выражено в статьях и тактике? Пройдем пока мимо. Предположим, что ни «Ива», ни «Чужое небо» не принадлежат к новому типу творчества, что сила нового движения не здесь, а в самой борьбе и принципах. С кем они борются? Со своими учителями — декадентами и символистами, теми самыми, которые еще недавно были всеми презираемы и гонимы, которые много мучились и томились духом, и до сих пор не успокоились в своем «недовольстве», именуемым кое-кем даже «святым». Не буду сейчас говорить, что они сделали доброго и пурпурного, кого они создали и что они создали; упомяну лишь, что среди других томивших их идей были как раз те, которые теперь проповедуют Городецкий и Гумилев, и что среди многих ими созданных были эти двое, но главное, — что они душой и кровью прошли много «путей и перепутий».

Они были мучениками, а не самодовольными порослями, как их представляло себе «Новое время» и подпевавший ему кантиано-волынский «Северный вестник». Один из них, над которыми особенно глумились или глупо восхищались, искалечил теперь в религиозной тоске всю Россию, сначала бегуном, потом соловецким отшельником, молчальником, странником — и наконец осел основателем новой секты, очень влиятельной в народе, — и до последних дней томится духом. Это — Ал. Добролюбов<sup>24</sup>. А при воспоминании о нем, вспоминается и другой, похожий на него, рано умерший и унесший с собой свою судьбу — юноша, мальчик с глазами, которых не забудет никто из тех, в кого они смотрели, горевшими таким жарким и необычайным огнем. Это Ореус Коневской. Судьба других сложилась различно, и они все — среди нас, чтобы говорить о них очень открыто. Но во всяком случае Сологуб, старейший по годам и один из первых декадентов, остается у всех на виду человеком неизменно трагического сознания, какие бы маски он на себя ни надевал, как бы ни менял свое лицо, как бы не приветствовал грешных «заложников жизни»; он остается одним из знаменательнейших явлений русского колебания между нигилизмом и религиозностью, если бы даже оказалось вдруг, что весь его мастерский талант — ничто. В самом его существе есть свойства гениальности.

Если живых хоронят заживо, приходится доказывать, что они живы. Что жив Брюсов, с его страстной любовью к литературному искусству; что он, несмотря на все свои эклектические заявления — цельный и большой человек, — это победа любви и искренности; не говоря уже о тех типических томлениях темперамента, которыми он так талантлив поэтически. Как бы ни относиться к мистическим поискам Андрея Белого, он — весь одно сгоранье живого телесного человека во внутреннем огне. А учитель Городецкого, так нежно, как я слышал, любивший своего ученика — Вяч. Иванов! Опять, если даже не соглашаться ни с одним его звуком, разве это не своеобразное порождение

нашой умственной культуры, такого высокого интеллектуального равновесия, что на весах его самый оккультизм принимает отчетливые очертания философской догмы. Да, я хотел бы напомнить Городецкому с Гумилевым и всем тем, кто за ними идет, по возможности, обо всех, кому они так беспредельно обязаны, прежде чем касаться их принципов: они же и сами ведь больше нападают, чем доказывают — во имя нового реализма! — Откуда вытек стихийный лиризм Блока, сначала романтический, а потом, именно, реалистический, как не из иррациональной стихии символизма?

Какого бы достоинства ни была под углом вечности стремительная версификация Бальмонта — разве это не целое событие в русской стихотворной технике? И в то же время — не прямое следствие декадентского культа формы?

А напряженные национально-стилистические искания Ремизова, к которым примыкал и Городецкий?

Остановлюсь на этих приблизительных указаниях, что акмеизм поторопился отпеть символистов за ненадобностью. Как бы ни относиться к ним субъективно, все они вместе и каждый в отдельности — без различия — в общем литературном сознании — стали наконец определенными ценностями, достигнутой нашей поэзией на пути ее развития. И просто отворачиваться от них может или плоское самодовольство или плевание на все... Но в заключение только еще имена родоначальников и предтеч: Тютчев, Фет, Достоевский, Вл. Соловьев, Мережковский, Минский — указывающие на то, что хоронимый заживо с такой некрасивой поспешностью символизм — явление не случайное, оторванное от жизни русских умов, а имеющее национальные корни. Наконец благоговейно вынутые символистами из забвения или вновь созданные имена западные: Шелли, Эдгар По, Бодлер, Ибсен, Ницше, Метерлинк...

На смену всему этому — что же? В России последние книжки стихов Городецкого и Гумилева и тех, первые шаги которых еще слишком скромны, чтобы быть здесь упомянуты, а на Западе — Готье, Виллон, Рабле, Шекспир. Не задать ли вопрос, насколько национальна эта генеалогия для направления, претендующего быть национальным?<sup>2</sup>

Но, пожалуй, лучше, говоря с акмеистами, не становиться на историко-литературную почву, здесь они так слабы, что у них и скромный Никитин — большое явление. Они сами предпочитают, как верные ученики символистов, вращаться в философских понятиях, с которыми они, впрочем, в противоположность символистам, едва справляются, и, желая быть важными, прибегают к аргументации — просто смешной.

Но я боюсь. Я все подхожу к самому страшному, и все боюсь подойти к нему, потому что ведь самое страшное, когда люди громко позовут к себе, заявят о себе, а подойдешь и — оказалось, что идти не стоило, что крик их был криком или самомнения, или растерянности; когда люди разлетятся из всех

---

<sup>2</sup> Вычеркнуто: (и при чем здесь Шекспир? Да и Рабле?)

сил — и потом вдруг — окажется... В том-то и дело, что это очень жутко и потому я пишу об акмеистах с волнением за них.

Символизм отменен, — что ведут они ему на смену? Это выясняется из того, почему он отменен: они борются с ним как с выражением трансцендентного миросозерцания<sup>3</sup>. Стало быть — возвращение к реализму или классицизму? Нет! Слишком просто, — к акмеизму! Т. е. к механическому синтезу или пантеизму? Все равно — только бы к имманентности<sup>4</sup>. Правда, оба акмеиста стараются отзываться о трансцендентном как можно почтительнее, но какую ценность имеют почтительные речи о потустороннем, раз человек не проникнут жгучей жаждой непознаваемого? Как хорошо это понимали старые реалисты — люди большой жажды и великой искренности, например Герцен, требовавший от русских людей «горящего взора, устремленного в лицо истины», если даже она отнимет все святыни! Но акмеисты, как все современное — не материалистично, не спиритуалистично, не всебожно и не безбожно, а «имманентно» настроенные умы — люди умеренные и аккуратные, несмотря на все их бурные выступления, как на это указал им еще этим летом один из наиболее позитивных отцов их — Брюсов.

Что же! имманентность, так имманентность — реализм так реализм! Не просто воспроизведение явлений жизни, но изображение жизни как ряда вечных мгновений — прекрасно! Что можно было бы по этому поводу сказать, вообще, как не отметить безо всякого пристрастия, что в нашей литературе началась полная или частичная реакция позитивизма против мистицизма. Давно прошли времена «споров романтиков с классиками». Почему же тогда не быть откровенными, без того ребяческого самомнения, — или<sup>5</sup> вызывающего озорства.<sup>6</sup> Но в новом движении (если это только движение) нет ни настоящей (а мы бы ждали пламенной!) откровенности, ни литературного благородства.

Подчиняясь той психологии, которая является одной из самых противных национальных болезней, — в борьбе за новое лягать своих родителей, Городецкий и Гумилев, даже не оперившись, как выразился философ, а не встав еще твердо на ноги, набросились на своих отцов и стали попросту превозносить самих себя и трех-четырех своих приятелей — безо всяких оснований.

Талант самого Городецкого, выращенный в цветнике Вяч. Иванова, находится, по-видимому, в упадке; Гумилев, обласканный Брюсовым, не был никогда особенно талантлив. В «Яри» Городецкого, при упоминании о которой его поэтическая совесть должна переживать тяжелые муки от сознания потерянного рая, выразилась победа многотворческой идеи, данной Вяч. Ивановым и стилистических достижений Бальмонта; затем годы

<sup>3</sup> Вычеркнуто: (терминология моя — эту философскую вольность они простят!).

<sup>4</sup> Вычеркнуто: (опять моя терминология)

<sup>5</sup> Далее вычеркнуто: еще хуже

<sup>6</sup> Далее вычеркнуто: ...— направо и налево, без всякого вызова и повода с противоположной стороны).

неопределенных стихов и того, что сам Городецкий называет «мертвыми паузами»; в этом году большой сборник «Ива», состоящий не только из неопределенных, но по большей части холодных и выдуманных стихов вовсе не нового типа — Я наконец скажу, прямо глядя в глаза Городецкому, которого любил как поэта: стыдно с такими посредственными стихами, в которых нет и тени его таланта, сколько бы Гумилев ни расхваливал эту книгу в «Аполлоне» (я верю, что лицемерно, из тактики — на это одна надежда!), стыдно с такими стихами становиться во главе поэтического движения, а от чудесной «Яри» он должен отречься, как от книги символической. У Гумилева не было и «Яри», а были эклектические «Жемчуга», собранные преимущественно на берегах Брюсовских морей, и, хотя русская поэзия, по уверению его друга, и обязана ему введением в нее разных экзотических животных (жирафов, слонов, обезьян), но беспристрастные читатели — знают кроме поддельных «жемчугов», еще — не без вкуса, литературно, но скучно и вовсе не индивидуально сделанные стихи «Чужого неба» (последний его сборник) — в том же Брюсовском вкусе. Значит<sup>7</sup> и Гумилеву становиться во главе движения и хоронить с такой легкостью среди других и Брюсова, которому он всем обязан, от которого не ушел ни на шаг.<sup>8</sup> Городецкого можно еще от глубины души по-жалеть, потому что уходя от многотворческой стихии, он изменяет не только символизму, но и самому себе — своей Богом данной, хотя и не сложной, но яркой и выразительной поэтической душе; а что касается Гумилева, то надо удивляться той молодежи, которая так мало, я верю, что именно малосознательно, что главой движения делает неверного ученика Брюсова, а не самого учителя, если только движенье есть, и учитель захотел бы его признать.

Я хочу этим сказать именно то, что, по существу, акмеизм — это точное продолжение тех символистских радиусов, которые шли к обоготовлению поэзии или просто к реальным темам, тоскуя в трансцендентном.

Стало быть, что школа и Бальмонта, и Вяч. Иванова, но больше всего Брюсова, так как и Бальмонт и Брюсов боролись — цитирую из акмеистов: «За этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю»; давно уже выразили они — один жаркий культ солнца и чувственности, другой — сдержаннее тот же культ чувственности и человеческой личности вообще; о влиянии пантеизма Вяч. Иванова на Городецкого я уже сказал. Трансцендентные символисты (например, Андрей Белый) действительно «заполняли мир соответствиями», но вовсе «не обратили его в фантом, важный лишь постолько, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами», но, сообразно основному смыслу символизма, — разгадывали за этим,енным в обычном опыте, иные и, если «умалияли вечную самоценность» мира, то потому, что были «полны непонятной тоской», той великой тоской, которая и соприкоснула поэзию с мистикой, как это было и у Данта, и у Шелли, и у Лермонтова, и у Тютчева; и

---

<sup>7</sup> Далее вычеркнуто: стыдно

<sup>8</sup> Вычеркнуто: ...— выражусь как можно нежнее, неловко

не опустошали они мира, но хотели наполнить той живой сущностью, которую вынимали из него неумеренные материалисты предшествующей эпохи.

Мир после них оказался принятym с двух сторон — в двух являющихся сознанию полюсах. Кому же обязаны — кого развивают акмеисты тем, что они проповедуют «вечность мгновений»? Разве не Бальмонта, отпевшего уже четверть века своей поэтической жизни, повторяют они, когда пишут: «После всяких неприятий мир бесповоротно принял акмеизмом во всей совокупности красок и безобразий»? А Бальмонт, этой формулой, выраженной здесь едва ли не его же словами, продолжал еще ранний пантеизм «Символов» Мережковского! Только в отношении к Андрею Белому они могли бы считать себя правыми в упреках трансцендентному (да и то забыв его патриотическую печаль), да еще по отношению к Сологубу и З. Гиппиус, тоже забыв многое у них, но действительно — наиболее мечтательным из всех — в их нежном лиризме; однако — оба они менее всего имели и влияния. Наконец в требовании соблазняющей акмеистов «бесстрастной формы» для «страстного содержания», с ссылкой на затрапанные слова Готье — то это тоже старая гастрономия, — перед нами встает живая тень Брюсова и вспоминается, как эти слова приелись еще в кружке Ал. Добролюбова, и как Мережковский тем, кто приходил к нему, постоянно внушал этот, собственно классический, вкус — ведь отсюда именно вытек еще очень недавний культ Баратынского и Пушкина, пришедший вслед за культом Тютчева.

Да если вспоминать старину, то разве в кружке Станкевича (сто лет тому назад) не говорили, что поэзия есть «полное ощущение данной минуты»?

Вот и вся идеология акмеистов со всей еезывающей тактикой и со всеми их возможностями: поэзия должна оставаться на земле, но не забывать и неба, — стараясь находить небо — здесь, на земле. Больше ничего. Да! Но все эти приятия и неприятия мира, как они пренебрежительно выражаются, — и обожествление мира в поэзии — приходило в старину — и далекую и недавнюю — после безумно-тяжостного сознания двойственности и одержанных внутренних побед, иногда до истощения всех страстных сил. И потому — были так могущественны. Искомый ими и уже давно открытый принцип — бесстрастная форма для страстного содержания — может иметь и не иметь места в поэзии — (не будем спорить — лучше ли он другого), но ведь он обязывает больше, чем какой-ни- будь другой к содержанию страстному, внутренно воспламененному, а не к одной лишь чувственности и тем более не к одним лишь разговорам о страстях.

Чем и когда томились Городецкий и Гумилев? Что они пережили, перестрадали — и что побеждали? Они пришли на все готовое, и стали ругать тех, кто для них все заботливо приготовил, перестрадав это «бесповоротное приятие мира», и не только принципиальную культуру формы, но и щательную выработку стиха — и целый мир поэтических образов.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Вычеркнуто: ...сами не принеся с собой ничего, явившись едва ли не с пустыми руками.

В одной из величайших трагедий презираемой ими символической поэзии — к строителю культурных ценностей постучалась молодость: Гильда ждала десять лет обещания Сольнеса повести ее на невозможную высоту и когда он, уступив призыву молодости — поднялся и упал с этой высоты, она кричала даже тогда, когда он падал, — в исступленном восторге: «Мой, мой строитель!..» Таково благородство в отношениях ученика к учителю, в том проникновенном понимании, какое дал символизм, как и все, что давало это глубокое и сложное движение. Но некультурная русская юность поступила во всех отношениях иначе. В эту минуту, когда декаденты и символисты перестали быть наконец бранным именем, когда они стали влиять на ту литературу, перед которой они всегда благоговели, побеждая силой своих страдальческих умов и блеском талантов мелкие предубеждения, их ученики отворачиваются от них, все, решительно все взяв от них, и подают руку тем, кто, в старом варварском утилитаризме, равнодушным к эстетической культуре, много лет отрицали их учителей, — и не знаю уж, как отнесутся теперь к этой их тактике?

А вдруг не признают своими?

Впрочем, наше литературное мнение еще так ничтожно, что — признают.

*Владимир Гиппиус.*